

ОЖИРЕВШИЙ ЛЕВИАФАН

ЧИТАЮТ ЛИ В КРЕМЛЕ КАРЛА ШМИТТА?

За последние годы политическая жизнь в нашей стране сильно изменилась. Было ли это задумано с самого начала или нет, но внешним образом направление совершавшихся изменений выглядело так, будто бы ее реформируют, предполагая в качестве ориентиров классические понятия государства и политики, какими их представил Карл Шмитт. Мы говорим: классические – потому что в популярном представлении Шмитт является прежде всего теоретиком нацизма и тоталитаризма, что верно лишь в небольшой части.

В любом случае это – отдельная тема, которая, конечно, представляет значительный интерес и заслуживает отдельного рассмотрения, в том числе и применительно к нашим сегодняшним делам.

Речь, однако, сейчас о другом. Шмитт известен как критик парламентаризма и сторонник сильного государства, как теоретик такого понятия политики (Шмитт предпочитал говорить *политическое*, чтобы не связывать себя более узким и традиционным понятием политики), при котором устанавливаются и действуют *ясные различия*. Согласно этому пониманию, есть народы – политические единства. Они противостоят друг другу, иногда столь интенсивно, что их противостояние перерастает в готовность вести войну. Тогда противники становятся врагами, а союзники – друзьями. С точки зрения политики как войны очень важно, чтобы политическое единство не было расколото. Это значит, что *внутри* народа врагов быть не должно, их надо подавить, чтобы они не предали во время войны. Политическое единство – это не абстрактный термин. Единство не относится к разряду только воображаемых величин и состояний. У него есть носитель. Лучше всего, чтобы это был персональный носитель, тот, кого в устоявшейся терминологии называют сувереном. Говоря о суверене как о персональной инстанции принятия решений, Шмитт указывал, что эти решения – радикальные, основополагающие решения. Собственно, только по тому, может ли высшая власть принять такие решения или нет, определяется ее состоятельность как суверенной власти. Главные решения, которые может принять суверен, это решения о введении

чрезвычайного положения и об объявлении войны. Тот, кто вводит чрезвычайное положение, может поставить вне действия любой закон, принятый легальным порядком. Это значит, что в конечном счете именно суверенная власть является источником законного порядка. Суверен может объявить войну, то есть *назначить врага*. Таким образом, он действует от имени всего политического единства, воплощает его.

Как следовало понимать такие речи в 20-х годах прошлого века, в особенности в связи с критикой либерального парламентаризма? Те, кто негативно судит о Шмитте в наши дни, говорят так: «Посмотрите! В Германии была парламентская демократия, потом наступила нацистская диктатура, так что Шмитт несет ответственность за развитие событий». Но сам Шмитт, объясняя смысл своих сочинений, в начале 1960-х годов писал: «Я обращался к узкой группе знатоков права, и у меня в поле зрения был совершенно необычный феномен, какого не было прежде и какого больше уже нет, – европейское континентальное государство... Ведь классическому европейскому государству удалось нечто невероятное: создать внутри себя мир и исключить вражду как правовое понятие. Ему удалось устранить распрю, институт средневекового права, покончить с конфессиональными гражданскими войнами XVI–XVII вв., которые велись обеими сторонами как войны особенно справедливые, и создать в своей области покой, безопасность и порядок. Формула “покой, безопасность и порядок” служила, как известно, определением полиции. Внутри такого государства была, действительно, только полиция, но уже не было политики, разве что политикой назывались придворные интриги, соперничество, фронда и попытки бунта со стороны недовольных, короче говоря, “помехи”. Такое использование слова “политика”, конечно, тоже возможно, и дискутировать о его правильности или неправильности значило бы спорить о словах. Только следует иметь в виду, что оба слова, “политика” и “полиция” произведены от одного и того же греческого слова “полис”. Политикой в большом смысле, высокой политикой, была в то время только внешняя политика, которую суверенное государство как таковое по отношению к другим суверенным государствам, которые оно признавало как таковые, проводило на уровне этого признания, принимая решение о взаимной дружбе, вражде или нейтралитете»*.

Даже не проводя далеко идущих и рискованных аналогий, нетрудно заметить на некоторых действиях в сфере нашей государственной идеологии отсвет этих идей. Дело, конечно, не в том, кто, зачем и в каких объемах читал Шмитта. Дело в том, что между рассуждениями Шмитта и тенденциями нашего государства существует своего рода избирательное сродство, и одно помогает лучше понять другое. Суммируем еще раз: внутри государства – политическая нейтральность и, в сущности, отсутствие политики как таковой. Производные политические понятия, не предполагающие *войны между врагами*, применяются к оппонентам, но при этом

* Schmitt C. Der Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot. 1963. S. 10.

радикальные оппоненты достаточно быстро идентифицируются как враги, а поскольку подлинные враги всегда вне государства – как агенты вражеских государств. Политическое значение парламента как места, где противостоят политические силы, дискуссии которых имеют значение для мотивации политического участия широких слоев народа, сведено до очень небольших величин. Государство рассматривается – если не считать его действий по поддержанию покоя и безопасности – как голая техника, как машина, исправно функционирующая до тех пор, пока никто не ставит под вопрос связь повиновения (которого оно требует) и защиты (которую оно обещает). Собственно, этой конструкции много лет, и сама эта формула



Александр Филиппов:
Формула «защита и повиновение» принадлежит великому философу XVII века, той самой эпохи классического государства, Томасу Гоббсу. Гоббс назвал это государство «Левиафаном», желая связать его с ветхозаветным символом неодолимой мощи

«защита и повиновение» принадлежит великому философу XVII века, той самой эпохи классического государства, Томасу Гоббсу. Гоббс назвал это государство «Левиафаном», желая связать его с ветхозаветным символом неодолимой мощи. «Такого рода технически нейтральное государство может быть как толерантным, так и не толерантным: в обоих случаях оно остается одинаково нейтральным. Его ценности, его истина и его справедливость заключаются в его техническом совершенстве. ...Государственная машина либо выполняет свои функции, либо нет. В первом слу-

чае она гарантирует мне безопасность моего физического существования; взамен она требует безусловного подчинения законам ее функционирования»*. На самом деле эта конструкция оказалась уязвимой в теоретическом плане, неосуществимой – в плане практическом. И все-таки она представляет собой все снова и снова возобновляющийся *соблазн* для тех, кто пытается построить эффективное, управленчески совершенное государство. Такому государству, правда, сильно мешают вдохновенные и убежденные граждане, будь то либералы или анархисты, атеисты или религиозные фанатики, – главное, все те, кто не может принять нейтрально-совершенную машину управления всей душой, согласиться с правилами защиты и повиновения.

Проблема состоит в том, что управленческое, бюрократическое государство в известном смысле остается неизбежным. Если это машина, она должна работать. Кажется, уж никак не меньше ста лет известно, что в том-

* Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / Пер. Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 171.

то и сила этой конструкции: профессиональная бюрократия – это трансцендентальное условие возможности социальности вообще и политической жизни в частности. Если ее снести, начинается хаос. Но если ее оставить в покое, она быстро переопределяет границы технического в свою пользу, и каждое принципиальное политическое решение будет подаваться как сугубо нейтральное, диктуемое обстоятельствами дела (*Sachzwang*, как говорили в последние десятилетия прошлого века консервативные немцы). Достоинство демократических систем состоит в том, что они умудряются установить баланс между давлением на бюрократов и автономией их деятельности. Способы установления такого баланса не очень многочисленны, стремление достичь его не всегда отчетливо, а работа над его учреждением и сохранением не всегда успешна. В общем, это результат сочетания многих факторов, редкая удача, которую, к тому же, по-разному оценивают в разное время.

Простое рассуждение, в той или иной форме положенное в основу демократических идеологий, состоит в том, что когда дела управления идут хорошо, давление на бюрократов ослабевает, когда же обстоятельства меняются к худшему, граждане лишают их своей политической поддержки. Машину не меняют целиком, в ней заменяют те части, которые отвечают за выбор направления и другие стратегические задачи. Но это рассуждение не только слишком грубое (принять хорошее решение и понравиться тем, от кого зависит политическая поддержка, – очень разные задачи), оно еще и не учитывает возможности прямо противоположного ведения дел. Ведь если представить себе сильно разросшийся и автономизировавшийся механизм управления, то окажется, что не только «граждане» будут заинтересованы в изменении модуса его поддержки, но также интерес самих бюрократов будет состоять в том, чтобы машина управления представляла как изменчивая, откликающаяся на изменчивых в своих симпатиях граждан. Эта задача тем более актуальна, что машина управления отнюдь не вбирает в себя всех тех, кто может содержательно судить о ее функционировании. Компетентность в делах управления не ограничивается одним только кругом занятых в управлении, хотя и сосредоточена по большей части именно здесь. Машина вообще может работать не в одном, а в нескольких разных режимах, и ссылки на объективное положение дел и особенности ее устройства не так уж убедительны не только для тех, кто не понимает, но и в особенности для тех, кто понимает достаточно хорошо.

Вот почему так важны дополнительные средства обеспечения поддержки! На языке социологии это называется *легитимацией*. Система управления легитимируется через принцип выборности. Выбирают ведь не чиновников, а тех, кто задает им цель и смысл деятельности! Или, если перевернуть это отношение, дело ведь не в том, что бюрократ не знает, чем заняться, а в том, что делать свое дело он может без помех со стороны граждан лишь тогда, когда вся система управления обретает легитимность. Если для Гоббса суверен был тем, кто пользуется разного рода советчика-

ми и управленцами как инструментом своей воли, и воля государства равна воле суверена, то в наши дни рассуждения о бюрократии как новом классе, которому принадлежит реальная власть, стали почти банальными.

Но бюрократии суверен нужен, как видим, ничуть не меньше, чем бюрократия суверену. В странах с реально существующим разделением властей системы легитимации сложны, и общий уровень доверия и поддержки политической системы со стороны граждан сравнительно незначительно понижается отдельными сбоями. В нашей стране, во всяком случае, видимое, убедительное в глазах большинства

населения разделение властей на автономные ветви достаточно мало. Это значит, что вся система легитимации выстроена просто и ненадежно. Она сохраняет видимость единодержавия до тех пор, пока не бывает исчерпан легитимирующий потенциал «первого лица».

Рассуждая так, мы ставим под сомнение распространенную точку зрения, согласно которой в нашей стране существует «властная вертикаль», вершину и порождающий принцип которой образует президент. Левиафан – и это хорошо понимали и Гоббс, и Шмитт – нуждается в том, чтобы на вершине было *одно лицо*, обеспечивающее единство воли и единство репрезентации, то есть то лицо, в котором единство государства могло быть легко опознано именно как единство, а не просто собрание людей с разными намерениями и волями. Но Шмитт знал и кое-что другое. Он знал, что власть – это самостоятельная автономная величина, в том числе и по отношению к тому, кто обладает наибольшей властью. И он знал, что

помимо прямой власти есть и косвенная власть тех, кто окружает властителя. Они находятся «в предбаннике власти», и влияние их огромно. Не бывает такого, чтобы кто-то мог властвовать хотя бы краткое время, хотя бы незначительным образом – и чтобы мельчайшая концентрация его власти не притянула к себе доверенных, советчиков, информаторов, короче говоря, всех тех, чье существование обусловлено его слабостью – оборотной стороной власти.



Почему так важно учитывать непрямых, косвенных участников власти? Если считать, что власть – это средство, то концентрация власти – это умножение средств достижения цели. Но откуда берется сама цель? Целей может быть много. Из многих целей надо выбрать. Выбор совершается в силу некоторых оснований, резонансов. Соображения относительно резонансов основаны на представлении о положении дел и связаны со способностью переработать информацию о положении дел настолько, чтобы сделать ее обозримой и пригодной для выбора. Здесь-то и вмешиваются *косвенные*. Для постороннего наблюдателя они суть фильтры ин-

В нашей стране вся система легитимации выстроена просто и ненадежно. Она сохраняет видимость единодержавия до тех пор, пока не бывает исчерпан легитимирующий потенциал «первого лица»

формации (право доклада у суверена и т. п.). Для самого властителя они суть вспомогательные средства для достижения цели. А для самих себя? Ведь и они отдают приказы, они также ставят цели, они обладают властью и принуждены опираться на чужие мнения. Суверен окружен не только безвластными советчиками, значение которых определяется лишь тем, что у

них есть право прямого доступа к нему и право доклада, он окружен главами меньших, вторичных пирамидок власти, каждый (или многие) из которых находится в своей среде советчиков и подвластных ему меньших начальников.

Сделаем еще один шаг. Тот, кто отдает приказы, запускает в ход цепочку причин и результатов, отследить которые он больше не может. Власть как потенцированная способность добиться цели оказывается сомнительной именно с точки зрения цели. Одна сторона этого бросается в глаза: технические средства власти, средства средств, возросли настолько, что производимые ими следствия превышают все возможности человека – интеллектуальные и физические. Но есть и другая сторона, кажется, менее очевидная. Самозаконный характер власти, необозримость следствий любого властного решения связаны не только с техникой, но и с тем, что власть в каждой точке превышения ее потенциала над потенциалом подвластных реализуется в *среде*, образованной множеством властных действий, причем действие, инициированное в любом месте власти, обусловлено как характером подчинения властвующего другому властвующему, подчинения подвластных данному властвующему, а также сложной конфигурацией преддверий власти на разных уровнях, борьбой внутри преддверий, борьбой за доступ к преддвериям, соотношениями компетенций и т. п. Причем все это происходит там и тогда, где и когда, как предполагается, на вершине власти стоит один властелин, обладающий всеми полномочиями и высшей легитимностью.

А что же у нас? Несколько лет назад мне случилось уже писать об инфляции власти в России. Там, где многим наблюдателям выделось «укрепление», образовался, как я считал и считаю, избыток властных решений, каждое из которых обладает сравнительно меньшей ценностью. Разумеется, полная аналогия власти и денег невозможна, однако мы легко замечаем, например, что в местах эмиссии власти и эмиссии денег собственно недостатка ни в том ни в другом даже и при инфляции нет, в случае надобности можно увеличить выпуск того и другого. Можно заметить и то, что при особенно интенсивной инфляции возникает соблазн «бартера», обмена товарами или услугами, имеющими большую устойчивость, нежели денежные знаки или властные решения, без использования этих последних. И как ответ на эту тенденцию появляется соблазн ввести наряду с обесценившейся крепкую валюту, за которой стоит нечто устойчивое. В случае власти это могут быть особые акты, действия кото-

рых проверяются непосредственно властителем или его прямыми уполномоченными. Известно, впрочем, и то, насколько проблематично такое решение.

Инфляция власти часто бывает связанной с кристаллизацией суверена, репрезентативной фигуры на вершине властной иерархии. Почему же происходит такое странное превращение? Как раз накануне нацистской революции в Германии Карл

Шмитт рассуждал о том, в каком смысле можно говорить о тотальном государстве. Он, между прочим, пришел к выводу, что государство может быть тотальным из-за слабости. Оно «всюду лезет», не рискуя ничего оставить без своего вмешательства, но, разумеется, не может справиться со всем объемом задач достаточно эффективно. После того как в мире в достаточной мере был освоен опыт «реального тоталитаризма», эти рассуждения как-то подзабылись, а способность тоталитарных режимов мобилизовать значительные ресурсы на некоторых стратегически важных направлениях запомнилась не меньше, чем специфический аппарат репрессий и контроля. Между тем слова Шмитта относились, заметим это еще раз, не к нацистской, а к преднацистской Германии, и проблемы, которые он обрисовал, были в числе тех, что стали одной из причин крушения Веймарской республики.

Сильное государство – это не тотальное государство. Тотальное государство может быть сильным и слабым. Слабое тотальное государство никого не может мобилизовать, но может подпортить жизнь многим и многим. Внешним образом это выглядит как чуткость инстанций управления к запросам общества, нуждающегося в контролере и арбитра. Фак-

Государство может быть тотальным из-за слабости. Оно «всюду лезет», не рискуя ничего оставить без своего вмешательства, но, разумеется, не может справиться со всем объемом задач достаточно эффективно

тически же избыток производимых решений – это запрос на дополнительную легитимацию разросшихся полномочий управленцев. Власть и подвластные взаимно усиливают эту тенденцию к увеличению политики в обращении.

Следует ли предполагать, что это имеет отношение к ближайшим перспективам нашей страны? Наверняка сказать об этом не может никто. Вопрос о том, является ли харизма действующего (на начало апреля 2008 года) президента личной или должностной, – отнюдь не академический, точнее не только академический. И то обстоятельство, что ссылки на действующую Конституцию не успокаивают никого и не позволяют считать вопрос заведомо решенным, говорит о многом. Но гадать здесь действительно не о чем, остается только ждать. Мы можем, однако, предположить, что именно будет важным в перспективе наших ожиданий.

Теоретически совершенно необходимо, но *практически* совершенно невозможно, чтобы действующий президент превратился в одночасье из репрезентативного лица и подлинного суверена в простого порученца при избранном и вступающем в должность президенте. Это может означать лишь одно: существующая, но недостроенная линия легитимации исполнительной власти должна быть достроена, а будет ли это сделано при посредстве сугубо бюрократического механизма (государства), механизма представительной власти или при посредстве движения (правлящей партии) – вопрос хотя и важный, но поначалу второстепенный. Подчеркнем еще раз: мы в точности ничего не знаем и не можем знать ни о солидарности, ни о соперничестве первых лиц. Говорить об этом бессмысленно. Но инстанции власти должны быть легитимированы поддержкой. Процедура выборов обладает легитимирующей силой, когда в них действительно видят выбор, и даже тогда инерции доверия может не хватать в критических ситуациях.

Следовательно, нужна постоянная мобилизация поддержки, а если допустить, что хотя бы на краткое время инстанций власти, равносильных по харизме и по потребности в легитимации, окажется две, значит, и действий, обещающих такую поддержку, становится много больше. Можно было бы нафантазировать здесь многое, и нет сомнения в том, что таких фантазий будет немало. Но помимо фантазий есть еще простая логика государства, в котором появляется новый центр эмиссии власти. Умные аналитики советского строя давно заметили, что недостаток легального политического плюрализма возмещался в СССР конкуренцией различных групп и инстанций, в частности советского и партийного аппаратов. Это имело свои минусы и свои преимущества, и нельзя сказать, что некое подобие возрождения такой конкурентной среды следует сразу оценивать негативно. Но нельзя не видеть и всех опасностей этого развития. Ближайшее из них – гиперинфляция власти, а как следствие ее – введение подлинно твердой «властной валюты». Посмотрим, во что это выльется.